

Иван Панаев

Хлыщ высшей школы



Иван Иванович Панаев

Хлыщ высшей школы

(Опыт о хлыщах)

«Я хочу изобразить... чуть было не сказал воспеть, потому что предмет достоин поэмы, – самого утонченнейшего и безукоризнейшего из всех хлыщей – хлыща высшей школы (de la haute école), перед которым мой великосветский хлыщ должен показаться жалким, неуклюжим и грубым, потому что между ним и хлыщом высшей школы почти такая же разница, какая между простым, хотя и породистым пуделем, бегающим по улице, и тем изящным пуделем высшей школы, развившимся под ученым руководством г. Эдвардса, который показывается в цирке г-жи Лорры Бассен и Комп...»

Содержание

Вместо вступления	0005
I	0008
II	0015
III	0038
IV	0065

Иван Иванович Панаев
Хлыщ высшей школы
(De la haute école)

Вместо вступления

Я хочу изобразить... чуть было не сказал воспеть, потому что предмет достоин поэмы, – самого утонченнейшего и безукоризненнейшего из всех хлыщей – хлыща высшей школы (de la haute école), перед которым мой великосветский хлыщ должен показаться жалким, неуклюжим и грубым, потому что между ним и хлыщом высшей школы почти такая же разница, какая между простым, хотя и породистым пуделем, бегающим по улице, и тем изящным пуделем высшей школы, развившимся под ученым руководством г. Эдвардса, который показывается в цирке г-жи Лорры Бассен и Комп. Если бы все в мире лошади, собаки, люди, насекомые проходили через высшую школу – боже мой! в какую изящную, утонченную игрушку превратился бы тогда мир, но, к несчастью мира, не все одинаково способны подвергаться этой школе. И странно! всех неспособнее и непокорнее в этом случае – человек – существо разумное. Его иногда труднее вышколить, чем какую-нибудь блоху – это едва заметное, неуло-

вимое и неразумное насекомое; но зато когда человек оказывается способным пройти через высшую школу – он становится прекрасен, велик, – и все шавки, пудели, лошади и блохи высшей школы бледнеют и уничтожаются перед ним!..

Если бы какой-нибудь предприимчивый и почтенный господин, вроде г. Барнума, вздумал вместо ученых собак, блох, лошадей, девиц-альбиносок, сирен и Том-Пусов развозить на удивление Старого и Нового Света любопытнейшие и отборнейшие сорта хлыщей, этот новый и оригинальный род промышленности доставил бы ему, я убежден в этом, колоссальное богатство. Нет сомнения, что особенную выгоду могли бы, в этом случае, представлять хлыщи высшей школы. На их изящнейшие манеры, на их утонченную выправку, на их бесподобную недоступность и исполненную чудной грации величавость стекались бы смотреть миллионы народа, потому что народ вообще падок на все великолепные зрелища, любит глазеть на все высшее, на все выходящее из – под обыкновенного уровня.

Я желал бы вывести перед любознательной публикой моего хлыща высшей школы во всем его блеске и красоте – так, как выставляют девиц-альбиносок, великанов и другие чудные явления природы, поставить его на вертящиеся подмости, устланные бархатом или мокетом и уставленные бананами и другими тропическими растениями, и, тихо повертывая подмости, доставить почтенным посетителям случай в подробности рассмотреть его со всех сторон. Но, увы! это невозможно. Такие совершенные создания, к какому принадлежит мой настоящий хлыщ, не отдают себя напрокат, как это случается с хлыщами другого рода, – и для того, чтобы дать понятие о нем, я поневоле должен прибегнуть просто к его описанию, чувствуя заранее, что предлагаемый поверхностный снимок не передаст и десятой доли тех красот и совершенств, которыми обладает несравненный оригинал.

Если вы, мой читатель, принадлежите к жителям Петербурга, вам, вероятно, случилось встречать в театре, в клубе (разумеется, Английском), на улицах или в салонах (если вы ездите в большой свет) высокого, полного, средних лет господина, держащего себя очень прямо, одетого с изящною и строгою простотою, без всяких изысканных и бросающихся в глаза украшений и нововведений: без стеклышек, английских проборов и тому подобного, с движениями медленно-важными, с взглядами вечно холодными и даже несколько суровыми, с лицом неподвижным, но проникнутым высоким сознанием своего превосходства, на котором появляется только легкая тень приятной улыбки, когда господин этот заговаривает с значительным лицом или когда значительное лицо с ним заговаривает... Вы, верно, заметили, что не только его бесстрастно-прекрасное лицо, но даже его туловище, шея, ноги и руки – все одинаково проникнуто сознанием своих совершенств; что он поворачивает шею только в самых важ-

ных обстоятельствах, только тогда, когда очень значительное лицо обращается к нему или он обращается к очень значительному лицу; что он протягивает руку только избраннейшим из избранных; что он ходит так, как будто делает честь тротуару или паркету, к которому прикасается... Если вы видели такого господина – то вы уже имеете некоторое понятие о наружности моего хлыща высшей школы. Его монументальная и торжественная фигура даже напоминает несколько Командора в «Дон-Жуане»...

Не подумайте, мой провинциальный читатель, чтобы я преувеличивал перед вами совершенства моего героя – из благоговейного уважения к нему. (Я употребляю возвышенное слово герой, вышедшее ныне из употребления, потому что говорю о возвышенном предмете.) Какое преувеличение, помилуйте!.. я ссылаюсь на весь великосветский Петербург... Все, имеющие счастье пользоваться знакомством его, подтвердят вам, что он ведет себя с такою безукоризненностью, с какою может только вести себя господин, прошедший чрез все искусства высшей школы. Ни-

кто и никогда не видел его ни на улице, ни в театре, ни в клубе с человеком, не принадлежащим к высшему свету, с inconnu; никто и никогда не видал его смеющимся, он позволяет себе только слегка улыбаться в известных случаях, как замечено выше; никто и никогда не видел его удивляющимся, – он ничему не удивляется, как все люди безукоризненного тона; никто и никогда не заметил, чтобы в разговоре он возвышал или понижал голос, – он говорит плавно, ровно, спокойно, и каждое слово, вылетающее из уст его, должно, кажется, осчастливить того, к кому относится; никто и никогда не видал его аплодирующим в театре, потому что аплодируют люди увлекающиеся, то есть люди плохо вышколенные или просто люди дурного тона. Даже и в такие исключительные минуты, когда, бывало, Рубини в «Лучии», в сцене проклятия, потрясал весь театр своими раздирающими душу звуками и невольно извлекал слезы даже из глаз людей хорошего тона, и их заставлял забываться, аплодировать и кричать вместе с толпою, – даже и тогда он оставался в своем обыкновенном, бесподобном и величавом

равнодушии.

Надобно видеть, с какою почтительною ловкостью, тихо, не суетясь, его изящная прислуга подает ему шинель или пальто, когда он выезжает из дома; с каким благоговением провожает его гордый и толстый швейцар и усаживает в сани; с каким глубоким уважением капельдинер, кланяясь, отворяет ему дверь его абонированной ложи; как увивается около него дворецкий Английского клуба в тот день, когда он кушает в клубе. Но все эти знаки почтения, благоговения, подобострастия пропадают даром. Он, кажется, не подозревает о существовании на свете лакеев, швейцаров, капельдинеров, дворецких и прочего и полагает, что все является и отворяется перед ним, все снимается с него и надевается на него по мановению волшебного жезла. Один только раз он чуть-чуть повел глазом на своего лакея, у которого белый галстух был несколько измят и имел не совсем свежий вид, и, обратясь к своему мажордому, произнес строго-спокойным голосом: «Чтоб этого сегодня же не было здесь...»

В клуб герой мой приезжает обыкновенно

позже всех и садится за особенный стол... За обедом он кажется еще прекраснее. Он кушает с большим аппетитом, но не обнаруживает его ни взглядами, ни движениями, как люди грубые и дурно воспитанные; вино, кажется, он не пьет, а только вдыхает в себя его аромат, хотя его бутылка опорожняется к концу обеда так же, как и у других, которые просто пьют. После обеда он садится за карты и играет по большой и с людьми значительными. Он к картам не имеет особенной страсти (да и вообще он не имеет никаких страстей, потому что страстями одержимы только люди вульгарные), а играет по расчету, для поддержания своих связей и значения, сохраняя постоянно величавое равнодушие и спокойствие при выигрыше и при проигрыше... Но виноват, – я, кажется, увлекаясь моим героем, забегаю немного вперед и заранее прошу у читателя извинения только за небольшое отступление по поводу карт. Я не могу на минуту не остановиться на этом предмете. Карты вещь очень серьезная. Если вы не умеете играть в карты, мой благосклонный читатель, учитесь, учитесь скорей, не теряя времени.

Посредством карт в Петербурге (я не знаю, как в других европейских столицах) завязываются наитеснейшие связи, приобретаются значительные знакомства, упрочивается теснейшая дружба и, что важнее всего, получают выгоднейшие места. Приобретя опыт жизни, я очень сожалею теперь, что не посвятил себя в начале моего поприща изучению ералаша, преферанса с табелькой, пикета и палок. Кто знает, по примеру многих других, я через карты легко мог бы сделать прекрасную карьеру, и вместо того чтобы подвизаться на неблагоприятном и скользком литературном поприще, я уже пользовался бы теперь значением, имел бы приличный моим летам чин, был бы окружен подчиненными, смотрящими мне в глаза, распоряжался бы участью нескольких сот подведомственных мне людей (что очень приятно) и преследовал бы всех сатирических писателей, которые раскрывают, как говорит Гоголь, «наши общественные раны»... Однако все это нейдет к делу, и мне давно пора сказать, какое общественное положение занимает мой утонченный герой в свете, и познакомить любозна-

тельных читателей с его биографией.

Он сын очень почетного отца, который умом, трудолюбием и, как прибавляют люди злоязычные, вкрадчивостью и лицемерием сам проложил себе блистательную карьеру. Почтенный родитель прозывался Белогривовым, от села Белые Гривы, в котором родился, и оттого еще, может быть, что волосы его в детстве были белы, как лен. Это прозвище так и осталось за ним, и никто, конечно, не подозревал, что со временем оно обратится в громкую и блестящую фамилию. В летах отрочества он бегал еще по деревне в затрапезном халате, а в сорок пять лет пользовался уже значением в Петербурге и вступил в брак с девицею довольно известной дворянской фамилии, за которую взял 500 душ. На шестидесятилетнем возрасте он достиг всего, к чему с такой жадностью стремятся люди: чинов, окладов, почета, уважения, связей. В Новый год и светлый праздник столы его были завалены визитными карточками с самыми блестящими именами, а в передней лежали груды листов, исписанных посетителями. В до-

машней жизни бог также благословил его. Супруга его была дама очень привлекательной наружности и приятных форм, кроме того, обладала замечательными нравственными достоинствами: характером твердым и решительным, вследствие которого держала бразды домашнего правления очень туго, и глубочайшим знанием светского такта и всех мелких светских обычаев и привычек. Ее любовь к супругу и заботливость о нем не имели границ: она сама распоряжалась всеми его деньгами; сама разбирала отчеты по имению; сама назначала ему камердинеров и сменяла их по своему произволу; сама ежедневно клала в его бумажник известную сумму денег; приказывала, каких лошадей закладывать в его карету; безусловно распоряжалась постоянно находившимся при нем курьером, – и один взгляд генеральши имел силы несравненно более, чем слово генерала, повторенное десять раз... «Друг мой, – говорила она с чувством супругу, – ты слишком занят важными государственными делами, и я не допущу тебя входить ни в какие домашние дрязги. Это уж мое дело». Дети (им бог даровал двух

прелестных малюток – мальчика и девочку) развивались также под ее исключительным и неусыпным наблюдением.

Нежная и любящая мать в мыслях своих готовила для них блистательную будущность и все воспитание их направила на то, чтобы сделать их безукоризненными в светском отношении. Им предстояла важная обязанность, высокий долг поддерживать честь и славу рода Белогривовых.

В характере этих детей, с самого раннего детства, обнаружилась резкая разница. Виктор, любимец матери и герой этого рассказа, был истинным утешением родителей. Его называли необыкновенным ребенком, и он был действительно необыкновенный ребенок, потому что, к удивлению взрослых, не кричал, не шалил и не резвился, как обыкновенные дети. Прекрасный, румяный и полный малюток во всем обнаруживал что-то вроде рассудительности, сдержанности и как будто чувства собственного достоинства. Он входил в комнату, раскланивался, танцевал, играл в куклы, говорил с другими детьми и даже катал обруч по дорожке сада с серьезностью и важ-

ностью, приводившею в восторг не только его родителей, но даже и посторонних. Виктором все восхищались и все отзывались об нем с похвалою, исключая, впрочем, домашней прислуги, с которою он обращался, несмотря на свой нежный возраст, так повелительно и с таким пренебрежением, что маменька даже принуждена была останавливать его замечаниями, что с людьми надо быть повежливее. Но, останавливая его, она в то же время думала с тайным удовольствием и гордостью, что так рано обнаруживающееся в нем отвращение ко всему низшему – признак благородной крови Балахиных, которая течет в его жилах (генеральша была урожденная Балахина). Лакеи и горничные, не принимая этого в соображение, смотрели на барчонка с совершенно другой точки зрения и так отзывались о нем: «Вишь, щенок, еще чуть от земли видно, еще молоко на губах не обсохло, а туда же, как большой, хорохорится и горло дерет».

Сестра Виктора, Сонечка, была девочка худенькая, бледная, слабая здоровьем и ничем особенным не отличавшаяся от других детей. Она, в противоположность своему брату,

пользовалась большим благоволением всей дворни за свою доброту и мягкость, которые выражались в ее бледных карих глазах и во всех чертах ее привлекательной белокурой головки. Но зато Сонечка, несмотря на то, что была старше брата двумя годами, не умела вести себя с достоинством, не имела того такта, которым так изумительно владел Виктор чуть не с колыбели; она была одинаково приветлива и радушна с маленькой княжной Мери, своей сверстницей, и с Катюшкой, дочерью ключницы. Ни попечительная мать, с тайным сокрушением смотревшая на нее, ни неподвижная мисс Генриетта, ее гувернантка, воспитывавшая некогда, по ее словам, мисс Арабеллу, дочь какого-то лорда, и исполненная самых аристократических претензий, не могли внушить Сонечке того чувства гордого сознания, которое бесспорно должно было одушевлять девушку, — дочь отца, так высоко стоявшего на ступенях общественных почестей, девушку, предназначенную для высшего света... Кровь Балахиных еще молчала в ней.

Однажды на даче, гуляя с мисс Генриеттой,

Сонечка (ей было уже в это время лет тринадцать) повстречала нищую, хорошенькую девочку лет восьми, в лохмотьях, которые едва прикрывали ее. Девочка эта очень понравилась Сонечке, которая остановила ее, с участием расспрашивала – откуда она и кто она? и сказала ей, чтобы она зашла к ним на дачу. Бедная девочка эта целый день не выходила у нее из головы, даже снилась ей ночью. На следующее утро она не отходила от окна, поджидая ее, и когда та явилась, Сонечка чуть не вскрикнула от радости, побежала ей навстречу и тихонько провела ее в свою комнату. Она надарила ей разных вещей и так растрогала девочку своею добротою и ласкою, что та со слезами бросилась к ней и схватила ее руку, чтобы поцеловать; но Сонечка отдернула руку и поцеловала девочку... В минуту этого поцелуя на пороге двери появилась строгая и неподвижная мисс Генриетта. Такое зрелище привело бывшую воспитательницу дочери лорда в страшное негодование... Она приказала сейчас нищей выйти вон и, обратясь к своей воспитаннице, прочла ей длинное, строгое и красноречивое наставление,

мысль которого заключалась в том, что хотя благотворительность – дело похвальное и хотя помогать бедным должно, но водить к себе в комнату нищих, обниматься и целоваться с ними девушке столь высокого происхождения неприлично и непростительно. Мисс Генриетта ссылалась на свою бывшую воспитанницу, мисс Арабеллу, умевшую всегда соединять похвальные движения сердца с чувством своего аристократического достоинства, и наконец привела Сонечке в пример ее собственного брата, который, несмотря на то, что моложе ее, мог уже служить для нее во всех отношениях образцом. Сонечке постоянно все беспрестанно ставили в пример брата; она не могла не видеть, что вся нежность родителей была обращена к нему, и, несмотря на это, ни малейшее чувство зависти не смущало ее. Она чувствовала к нему самую нежную привязанность с детства.

До пятнадцати лет она обнаруживала характер очень восприимчивый, общительный, живой и пылкий. Она передавала брату все впечатления, ощущения и мысли, начавшие зарождаться в ней. Она искала в нем

отзыва и сочувствия, но всякий раз после своих задушевных признаний чувствовала какую-то внутреннюю неловкость. Брат выслушивал ее спокойно и равнодушно, без всякого участия, и Сонечка объясняла это тем, что он не может еще понимать ее, потому что слишком молод.

Пылкость ее начинала, однако, охлаждаться с годами, может быть, вследствие болезненного состояния, которое усиливалось в ней вместе с ее ранним и быстрым нравственным развитием, на которое никто не обращал внимания. В восемнадцать лет у нее обнаружили такие грудные страдания, которые она, при всей своей терпеливости, не могла скрывать. Созван был консилиум. Доктора решили, что она имеет расположение к чахотке и что поэтому за ней необходимо иметь строгий медицинский надзор. Домашний доктор Белогривовых, очень важный господин, пользовавшийся в городе огромною репутациею и доверенностию, представил к ним в дом одного молодого доктора, который должен был, под его главным руководством, иметь постоянное наблюдение за ходом ее бо-

лезни. Молодой доктор начал ездить в дом Белогризовых всякий день. Он ухаживал за больною с необыкновенною заботливостию и вниманием, и через несколько времени она заметно стала поправляться. Доктор продолжал, однако, навещать ее так же часто. Он был человек образованный, большой поклонник Шекспира и Вальтера Скотта и, кроме того, страстный охотник до музыки. Он скоро сделался у Белогризовых почти домашним человеком. Генерал и генеральша оказывали ему большое внимание, видя его заботливость о больной; мисс Генриетта полюбила его за то, что он говорил с нею по-английски и декламировал наизусть монологи из «Гамлета» и «Отелло»; Софья Александровна (в это время никто уже не называл ее Сонечкой) обнаружила к нему также большую симпатию: она была тронута его участием и вниманием к ней; притом его образование, ум и расположение к музыке – все это производило на нее сильное впечатление. У нее были очень замечательные музыкальные способности, и она играла на фортепьянах с большим вкусом, тонкостью и чувством. Доктор также играл на

фортепьянах недурно, и они иногда вместе разучивали любимые пьесы. Она до того привыкла к доктору, что в тот день, когда он не приезжал, чувствовала, что ей как будто недостает чего-то.

На ее привязанность к нему, усиливавшуюся постепенно, не обращал никто внимания. Генерал видался с детьми два раза в день: на минуту утром, когда они приходили с ним здороваться, и за обедом. Генеральша привыкла смотреть на доктора как на домашнего человека, как на своего дворецкого или на свою ключницу, и подозрение о привязанности к нему ее дочери не могло даже прийти ей в голову. К тому же она приняла доктора под особое свое покровительство, потому что он лечил даром всю генеральскую дворню.

Когда здоровье Софьи Александровны поправилось, ее вывезли в свет, но после двух или трех балов болезненные припадки ее снова возобновились, – и эти выезды должны были прекратиться к ее величайшему удовольствию, потому что после каждого бала маменька, недовольная ею, делала ей очень жесткие выговоры и читала предлинные мо-

рали. Генеральша огорчена была тем, что появление в свет ее дочери не произвело того впечатления, какого она желала и могла надеяться. Выговоры эти обыкновенно оканчивались упреками, что на ее воспитание не щадили ничего, что на нее потратили тысячи и что она, несмотря на все внимание и заботливость об ней, не оправдывает ожидание родителей, и так далее.

Софья Александровна выслушивала эти упреки и выговоры молчаливо и переносила их с покорностию и твердостью. Иногда только, когда гнев ее маменьки, по какому –нибудь незначительному поводу, выходил из пределов и раздражался оскорбительными и вовсе не светскими выходками (генеральша была горяча), Софья Александровна прибегала к брату и высказывала ему свое огорчение. Виктор Александрыч был в это время уже студентом. Он обыкновенно молча выслушивал ее и, с свойственною ему рассудительностию не по летам, говорил, что если маменька и не совсем справедлива в отношении к ней, оскорбляя ее некоторыми словами и замечаниями, которые бы, конечно, не следовало

произносить, то, в сущности, она все-таки права, потому что желает ей добра, и беспрестанно твердил ей, как и маменька, о том, что ей необходимо выезжать чаще в свет.

После одного из таких объяснений с братом ей пришла в первый раз в голову мысль, что он человек холодный, без сердца. Как ни отгоняла она от себя этой мысли, но она неотвязчиво преследовала и мучила ее несколько дней. Софья Александровна старалась, впрочем, всячески оправдывать брата и уверяла себя, что эта мысль совершенно нелепая; что Виктор, напротив, имеет прекрасное сердце, порывы которого он только боится обнаруживать, и что эту наружную холодность и недоступность он заимствовал от своего воспитателя, имевшего на него большое влияние, бездушного формалиста г. де Шардона, который был помешан на старой французской аристократии, разыгрывал какого-то маркиза и не признавал никаких авторитетов, кроме Лагарпа, Баттё, Буало и Генриха V. Она не принимала в соображение, что неподвижная и суровая мисс Генриетта не успела же задуть в ней, несмотря на все свои усилия, че-

ловеческие увлечения и порывы сердца. Сваливая всю вину на г. де Шардона, Софья Александровна обыкновенно несколько успокаивалась. Несмотря на это, она перестала быть откровенной с братом. Характер ее заметно изменялся, она становилась серьезнее, сосредоточеннее, начинала, кажется, чувствовать пустоту и холод блестящей среды, ее окружавшей, и свое одиночество. Единственный человек, которому иногда она высказывалась, был доктор.

Софье Александровне был уже двадцать один год. Здоровье ее было слабо, и поэтому выезжала она в свет редко. Маменька, глядя на нее, начинала приходить в беспокойство и помышлять, каким бы образом прилично устроить ее участь.

Виктор Александрыч, окончив между тем курс в университете, определился в министерство иностранных дел и в первый раз явился в свете на бале княгини Красносельской. На этом первом дебюте он имел счастье быть замеченным одной очень почетной старушкой, которая нашла, что он прекрасно держит себя: с тактом, с почтительностью к

старшим и между тем с достоинством, и что многие молодые люди, гораздо поважнее его происхождением, могли бы брать с него пример...

Однажды, когда Виктор Александрыч сидел в своей комнате, только что окончив обделку своих ногтей и машинально перелистывая Готский альманах, свою любимую настольную книгу, мечтал о своих будущих успехах в свете, в комнату его вошла сестра. Ее бледное и болезненное лицо было бледнее обыкновенного, в ее глазах, почти всегда задумчивых и грустных, выражалась сила и энергия, тогда как в движениях и в походке была нерешительность и почти робость. По всему было заметно, что в душе Софьи Александровны совершалось что-то необыкновенное и что это посещение было не даром.

Виктор Александрыч слегка приподнял голову, взглянув на сестру. Он не заметил в ней, однако, ничего особенного, слегка кивнул своей прекрасной головой и протянул к ней свою белую и полную руку, с искусно обделанными ногтями в форме миндалин.

Софья Александровна села возле него.

– Что скажешь? – произнес он, переворачивая страницы альманаха, который он не выпускал из рук...

– Я пришла с тобою поговорить об одном деле, – отвечала она, – об деле, которое касается до меня... Скажи мне искренно, любишь ли ты меня?

Виктор Александрыч взглянул на сестру, и нижняя губа его подернулась немного насмешливо.

– Что это за вопрос? Что с тобою?

– Я хочу убедиться в том, что ты меня любишь, мне это нужно потому, что я должна сообщить тебе... – Она остановилась. (Разговор их, надобно заметить, происходил на французском языке.)

Виктор Александрыч еще взглянул на сестру, и в этот раз уж вопросительно.

– Я ничего не понимаю, – проговорил он своим обыкновенным равнодушным тоном, не обращая внимания на ее волнение, – разве случилось что-нибудь особенное?

У Софьи Александровны на глазах показались слезы, она с минуту ничего не отвечала, но потом вдруг бросилась к брату, обняла его

с увлечением и почти задышающимся голо-
сом сказала:

– Скажи мне, брат... принимаешь ли ты во
мне участие?

– Что с тобой, однако? – спросил он с
несколько озабоченным видом, оправляясь
после этих неожиданных объятий.

Софья Александровна сказала ему, что она
любит доктора...

При этом признании лицо Виктора Алек-
сандрыча вспыхнуло, он вскочил со стула, вы-
прямился всем своим станом и даже несколь-
ко выгнулся и обзрел с ног до головы Софью
Александровну...

– Что? Кого? – спросил он, не веря ушам
своим. Она повторила свои слова твердым го-
лосом.

Виктор Александрыч улыбнулся, заложил
руку за жилет и произнес:

– Что за шутки! Это совсем не забавно.

Софья Александровна вспыхнула в свою
очередь, оскорбленная этим замечанием, вы-
сказала ему с горячностью все, что было у нее
на душе, и в заключение объявила, что она
решилась выйти замуж за доктора.

Виктор Александрыч прошелся несколько раз по комнате, чтобы прийти в себя, и наконец остановился против сестры.

– Что с тобой, Sophie? Ты с ума сходишь, – произнес он в волнении, которое уж не мог скрыть при всей своей выдержанности, – откуда могли прийти к тебе такие мысли, такие дикие понятия? Ты забываешь, кто ты, какое имя носишь. Что может быть общего между тобою и каким-нибудь аптекарем или лекарем? Пожалуйста, приди в себя. Опомнись, одумайся. Ты хочешь нанести позор нашей фамилии, сделать нас городской сказкою, ты хочешь убить батюшку и матушку. Это какое-то безумие, которое нельзя оправдать ничем. Благовоспитанной девушке даже во сне не могут прийти в голову такие мысли, такие понятия...

Виктор Александрыч остановился запыхавшись. Он никогда не говорил вдруг так много и с таким жаром.

– Я люблю его, я на все решилась, – произнесла она.

Лицо и глаза ее горели. На этом лице и в этих глазах выражалось что-то гордое и ре-

шительное. Это была уже не девочка, грустная, болезненная и застенчивая, но женщина с сознанием и силою воли.

– Решилась!.. – повторил Виктор Александрч, не обращая на нее внимания, бледнее и закусив нижнюю губу, – это мне нравится! Что такое твое решение? у тебя отец и мать, у тебя брат, ты забываешь об них, кажется.

– Нет, я не забываю. Если в тебе есть хоть капля участия и сострадания ко мне, – я прошу тебя, брат, – будь посредником между мной, батюшкой и матушкой, ты имеешь влияние на них. Тебе легче...

– Посредником! – перебил Виктор Александрч, – подумай же наконец, что ты хочешь делать... в чем? Но это неприличие, это безнравственность, это сумасшествие... И ты думаешь, что я буду посредником твоим у отца и у матери, что у меня повернется язык сказать им, что ты любишь... Сделай одолжение, выкинь все это из головы. Seriously говорить об этом нельзя, и мне досадно на себя, что я принял это серьезно. Дай мне слово, что ты весь этот вздор выкинешь из головы, – и что об этом никогда не будет более слова.

Софья Александровна с большим усилием над собою приняла наружность холодную и спокойную и отвечала:

– Хорошо, я подумаю, я только прошу тебя об одном, чтобы это покуда осталось между нами...

Когда она вышла, Виктор Александрыч не на шутку призадумался. Мысль, что его сестра может быть женою какого-то лекаря, привела его в негодование и ужас. Он живо вообразил все неизбежные последствия этого: язвительные улыбки его великосветских приятелей; тень, которую бросит этот безумный брак на их фамилию; оскорбительные для них толки и замечания по этому поводу высшего света; шум, который наделает в городе этот неслыханный скандал, и проч. При мысли что все это может сильно повредить его светской и служебной карьере, дрожь пробежала по его телу и румянец исчез с его полных и пушистых щек. «Этого нельзя оставить так, – подумал он, – честь нашего дома в опасности, надо принять заранее меры и тотчас же предупредить об этом батюшку и матушку».

Виктор Александрыч отправился к родителям и имел долгое объяснение с ними, вследствие которого доктор уже не появлялся в их доме. С Софьей Александровной не было никаких объяснений, но генерал и генеральша стали обращаться с нею очень сухо и холодно. Виктор Александрыч избегал всяких столкновений и объяснений с сестрою. Так прошло около месяца...

В одно прекрасное весеннее утро в доме Белогривовых произошло неописанное смятение. Весь дом переполошился, начиная с самого генерала до последнего конюха. Генеральша лежала в обмороке; генерал совершенно потерялся; Виктор Александрыч вдруг так побледнел и осунулся, как будто только что встал с постели после болезни; люди совались без толку из угла в угол, как сумасшедшие; доктора перебегали от генеральши к генералу. Софья Александровна исчезла из родительского дома!.. Стоны, слезы, крики, рыдания, проклятия потрясали весь дом... Она бежала, покрыв стыдом и позором маститую седую голову заслуженного старика отца, всеми уважаемого, убив мать, которая с такою

нежностью заботилась о ее воспитании. Ужасно!

Буря утишилась не скоро, да и могла ли она скоро утишиться? Истерики и крики сменялись вздохами, стонами, покачиванием голов, всхлипываниями и жалобами на судьбу.

Вдруг, в один день, генералу подали письмо. Он взглянул на конверт и изменился в лице. Письмо было от Софьи Александровны. В этом письме она объявляла о том, что она замужем, умоляла о прощении, просила благословения и прочее. Но генеральша не допустила генерала распечатать конверт, выхватила его из рук супруга и бросила в камин.

– У нас нет более дочери, – произнесла она торжественно, – а у тебя, мой друг, нет сестры, – прибавила она с рыданием, обращаясь к сыну и обнимая его, – чтобы в доме никто и никогда не смел произносить ее имя, как будто бы она никогда не существовала!

Вскоре после этого неслыханного события генерал, который постоянно страдал сильною подагрой и в последнее время еле двигался от старости, занемог и скончался, оставив все, что имел, жене и сыну и ни слова не упомя-

нув в духовном завещании о дочери. Генеральша, рыдая над его трупом, произнесла: «Это она его убийца! Она!»

– Мое несчастное существование, – говорила она с нежностью сыну, – поддерживаешь один ты, – ты – моя гордость, ты – мое утешение! Без тебя мне ничего не оставалось бы, кроме могилы...

Но генеральше не суждено было долго наслаждаться и радоваться своею гордостью, своим действительно во всех отношениях безукоризненным сыном. Генеральша умерла в тифусе через полтора года после смерти своего супруга, а когда кто-то из ближних в минуту кончины осмелился ей напомнить о дочери, она прошептала: «У меня нет дочери». Это были ее последние слова.

Все решили, что Софья Александровна была убийцею отца и матери. На это нельзя даже было сделать никаких возражений, потому что в таком случае легко можно было прослыть за человека неблагонамеренного и безнравственного...

Таким образом, Виктор Александрыч, в двадцать с небольшим лет, сделался полным

властелином самого себя и единственным наследником состояния, оставшегося после его родителей, которое состояло в 900 душах и в капитале, простиравшемся, говорят, до 200 000 рублей серебром.

В то время как великосветские товарищи и сверстники Виктора Александрыча, все более или менее еще зависевшие от своих родителей, предавались, несмотря на это, с излишеством всем увлечениям и безумствам молодости, всем соблазнам, которые представляет большой город: вступали в клику театралов, волочились за танцовщицами, мерзли у театральных подъездов, провожали линии, тридцать раз в утро на рысаках и на парах с пристяжными проезжали по так называемой «Улице любви», мимо окон, из которых украдкою выглядывали их возлюбленные; подымали гвалт вечером в театральной зале, когда их богини, порхая, появлялись на сцене; бросали деньги на вино и женщин; делали долги, занимая сто на сто; целые ночи просиживали за картами или за лото; пили у Фёльета до рассвета и хвастали тем, кто кого перепьет, и потом ночью, для забавы, скакали на тройках по улицам, останавливая бедных запоздалых пешеходов, придираясь к ним, обсыпая их мукой и сажей, или предавались каким-нибудь

не менее остроумным занятиям и, к величайшему огорчению своих блестящих родителей и родственников, совершенно пренебрегали светскими отношениями и условиями, – Виктор Александрыч, пользовавшийся полною, безграничною свободою, вел такой образ жизни, которому мог позавидовать даже человек перебесившийся и остепенившийся, зрелых лет, несмотря на все свое благоразумие, все-таки впадающий иногда в промахи, заблуждения и увлечения. Но несравненный герой мой, как уже мог заметить читатель, принадлежал к тому разряду людей, которые не имеют заблуждений и увлечений, то есть не имеют молодости. В самом ребячестве он походил уже, как мы видели, на рассудительного и важного взрослого человека в миниатюре. Такие натуры многие обыкновенно обвиняют в сухости, в крайнем эгоизме и даже в жестокости, замечая, что люди, предающиеся в молодости самым неслыханным и непростительным буйствам, впоследствии еще могут сделаться настоящими людьми в полном и благородном значении этого слова, а что от людей, не знавших молодости, нельзя ждать ни-

чего доброго. До какой степени справедливо такое мнение и кто прав – господа ли, так рассуждающие, или те почтенные особы, которые в противоположность этому мнению считали Виктора Александрыча образцом молодых людей и ставили его в пример своим детям, – я предоставляю решать читателям...

Виктор Александрыч после смерти родителей прежде всего озаботился о сооружении двух великолепных монументов из мрамора с бронзовыми фигурами и гербами на их могиле на кладбище Невского монастыря. Он в известные сроки после их кончины, как следует почтительному сыну, уважающему память своих родителей, заказывал панихиды и сам присутствовал на них в глубоком трауре, который чрезвычайно шел к нему, резко оттеня удивительную белизну его лица. И до сих пор ежегодно, в дни их кончины, его можно видеть в Невском монастыре. Богомольные барыни и барышни, живущие под Невским, постоянно присутствующие на всех церковных обрядах, похоронах, панихидах и проч., глядя с восхищением на Виктора Александрыча, гордо стоящего – ибо и в храме божием

гордость не оставляет его – и с достоинством молящегося о успокоении души своих родителей, восклицают с чувством: «Ах, какой интересный, просто чудо! и несмотря на то, что такая знатная особа, а какой примерный сын, эдаких сыновей на редкость в нынешнем свете!»

Шесть недель после кончины матери, которые были исключительно посвящены печальным созерцаниям, исполнению обрядов и прочего, Виктор Александрыч с свойственным ему благоразумием приступил к рассмотрению и устройству своих дел: он переменил квартиру; распустил многочисленную дворню и оставил при себе только четырех человек: камердинера, лакея, кучера и повара. Квартиру он нанял небольшую, но в лучшей части города и устроил ее, не истратив на нее ни копейки; искусно уставил ее старую родительскую мебелью, которая была получше, доставшимися ему разными вещами: саксонским и китайским фарфором, старинными кубками с двуглавыми орлами, стопами и чашами, увесил стены старинными картинами, разложил на столах книги, которых

он, впрочем, никогда не читал, и иллюстрированные издания. Квартира его приняла вид совершенно аристократический. В кабинете его прежде всего бросался в глаза, в круглой великолепной резной раме, портрет его отца в полном мундире и со всеми знаками отличий, и большая подушка на диване, на которой были вышиты два соединенные герба фамилии Белогривовых и Балахиных. В год траура Виктор Александрыч почти никуда не показывался. Он выезжал в свет только на обыкновенные вечера и всего чаще посещал почетную и важную старушку, которая удостоила его не только заметить, но даже отличить на бале у княгини Красносельской. Он умел поддерживать ее высокое расположение и сделаться для нее почти необходимым лицом: он просиживал у нее по целым вечерам, читал ей французские газеты (почетная старушка любила заниматься политикой) и исполнял с быстротою и аккуратностью различные ее поручения. Об истории его сестры давно уже перестали говорить, так что Виктор Александрыч совершенно успокоился касательно этого предмета и почти забыл об су-

ществовании Софьи Александровны. Об ней не было никакого слуху, и он не желал узнавать, где она и что с нею. Правда, иногда вдруг совершенно независимо от его воли и без всякого повода его внутренний голос будил в нем воспоминание об ней и нашептывал ему ее имя, но он задушал в себе этот голос мыслию, что поступок его сестры не заслуживает ни снисхождения, ни сострадания и что этим поступком она навсегда разорвала с ним кровные отношения и связи.

Успех Виктора Александрыча в свете укреплялся с каждым годом. Этому успеху он был обязан вообще женщинам и преимущественно протекции почетной старушки. Он предпочитал дамское общество и беседу с людьми значительными, солидными и пожилыми буйным сходкам молодежи, которая, в свою очередь, не чувствовала к нему особенного расположения и называла его накрахмаленным господином. Дамы почти все были на его стороне и защищали его от насмешек и нападков с большою тонкостью и ловкостью, хотя некоторые из них втайне признавались, что, несмотря на все его нравственные досто-

инства, от него веет холодом и скукой, и чувствовали несравненно более влечения ко многим из тех, которые вовсе не пользовались нравственной репутацией. Виктор Александрыч действительно не мог возбудить страсти, но он внушал к себе невольное расположение всего прекрасного пола за свой глубокий светский такт, за свое непогрешительное *сomme il faut* и за ту полную уверенность в своих достоинствах, которая одною чертою отделялась от наглости. При этом он обладал всеми маленькими талантами, которые в глазах женщин имеют большое достоинство. Он умел срисовать пейзаж для альбома, пропеть романс или даже какую-нибудь итальянскую арию, довольно удачно набросать карикатуру, но все эти таланты он обнаруживал только для немногих избранных. Он не принадлежал к записным светским танцорам, которые танцами приобретают себе славу и известность в свете и делают блестящую карьеру; ему гораздо приятнее было с высоты своего величия, заложив руку за жилет, обозревать великолепную и пеструю толпу, кружившуюся и двигавшуюся в бальной зале; он

не любил танцы для танцев, но считал за неременную обязанность танцевать с теми, на которых обращено было особенное внимание света, которые выходили на первый план красотой, знатностью рода и особенно богатством. Он танцевал прекрасно, но без блеска и быстроты, без веселости и увлечения, потому что никогда и ни в каком случае не изменял своему холодному величию. Танцы нашего времени, для которых нужна быстрота и известная степень увлечения, не подходили к его строгому характеру, но он был бы превосходен в менуэте и вообще в старинных танцах, которые требовали плавности в движениях, спокойствия, медленности и достоинства. Ему вообще надо было бы родиться столетием ранее, потому что какое-нибудь сукно, трико и полотно не шли к его торжественной фигуре, – для нее были необходимы газет, шелк, атлас, батист, кружева и брильянты. Впрочем, я думаю, что люди, подобно моему герою, прошедшие через все тонкости высшей школы, не нуждаются ни в каком внешнем украшении. Если бы Виктор Александрович не имел той привлекательной и величе-

ственной наружности, которая доставила ему прилагательное к его фамилии: le superbe, он все-таки был бы оценен за его умственные и нравственные качества... Об его уме говорили в свете очень много, вероятно, потому, что он говорил очень мало, но зато уж если говорил, то всегда обдуманно и рассчитанно, каждое слово и фраза заранее были взвешены в его голове и потом уже пускались в ход с таким значением и с такою важностью, что самая пустая и ничтожная фраза, которая прошла бы незаметной в устах другого, в его устах казалась необыкновенно дельною и серьезною. Он пользовался еще, между прочим, даже между великосветскою молодежью, которая отвергала все его другие достоинства, репутациею замечательного дипломата – вероятно, потому, во-первых, что служил в министерстве иностранных дел, а во-вторых, потому, что в наружности и в манере его действительно было что-то дипломатическое. Глядя на холодное, бесстрастное, серьезное и оттого как будто глубокомысленное лицо Виктора Александрыча, на его важность и на его плавные, сдержанные манеры, можно было поду-

мать, что он носит в себе глубочайшие политические планы, соображения и тайны. Балзак очень хорошо сказал про такого рода дипломатов: «Они считают себя великими людьми, потому что дипломатия очень удобное занятие для тех, которые не имеют никаких знаний и отличаются глубиной своей пустоты; потому что она, требуя людей, умеющих держать тайны, дает прекрасный случай невеждам значительно пожимать плечами, принимать таинственный вид и молчать». Но если Виктор Александрыч и не был дипломатом в прямом значении этого слова и ограничивался, собственно, только перепискою депеш (он имел превосходный почерк), то в жизни, в своих личных сношениях с людьми, он, без всякого сомнения, обнаруживал замечательные дипломатические способности. Начальство обращало на него особенное внимание, потому что он пользовался высокой протекцией почетной старушки и при этом имел нравственные достоинства, резко отличавшие его от других молодых людей. Оттого он перегнал в чинах всех своих сверстников и при первой возможности был сделан ка-

мер-юнкером.

Какой-нибудь молодой человек с обыкновенным самолюбием, с ограниченными взглядами и с легкомыслием, которое так свойственно молодости, будучи на месте Виктора Александрыча, совершенно бы удовлетворился и успокоился; но Виктор Александрыч был не таков. Несмотря на то, что средства его доставляли ему возможность вести жизнь не только приличную, но даже роскошную, он считал себя чуть не бедняком и постоянно был озабочен мыслию об устройстве своей будущности в блестящих и широких размерах. Эта потребность росла в нем с каждым годом, не давая ему покоя. Ему было уже под тридцать лет. Его взгляды на жизнь сделались еще основательнее и положительнее, он с внутреннею болью сознавал, что, несмотря на некоторое значение, которым уже он пользовался в большом свете, он не имеет с ним кровной связи: что он все-таки выскочка, — *parvenu*; что его светские приятели, какие-нибудь князь Драницын или граф Ветлицкий, с которыми он был на «ты», как и со всеми молодыми людьми большого света,

не имеющие и сотой доли его ума, его способностей и его нравственных качеств, все-таки считают себя выше его, потому что они ведут свой род чуть не от Рюрика, тогда как его отец, несмотря на почетные титулы, с которыми он сошел в могилу, вышел неизвестно откуда; что его сестра замужем за каким-то лекарем и что хотя по матери он принадлежит к известному и старинному дворянскому роду, но все-таки что такое какие-нибудь Балахины перед Драницыными! Виктор Александрия понимал, что ему необходимо большое богатство, чтобы возвысить род Белогривых, придать ему блеск и заставить забыть о его темном начале. Богатство можно было приобрести не иначе, как через выгодную женитьбу. Трудная задача. Ему необходимо было, чтобы его будущая невеста имела и богатство и имя или по крайней мере какие-нибудь связи с высшим обществом. Богатство найти еще не трудно, но имя, соединенное с богатством, такая редкость в настоящее время! Немногие богатые невесты знатного рода еще в колыбели назначаются немногим богатым женихам такого же рода. Какой –нибудь

миллионер откупщик, золотопромышленник или купец, конечно, почел бы за величайшую честь отдать дочь свою за Виктора Александрыча, но на дочь какого – нибудь откупщика, несмотря ни на какие ее достоинства, несмотря ни на какое воспитание и несмотря ни на какое богатство, высший свет смотрел бы все-таки свысока и оказывал бы ей только снисходительное покровительство, если бы и допустил в свой круг. Князь Драницын, например, мог в крайнем случае для поправления своих совершенно расстроенных дел решиться на такой подвиг, потому что княгиню Драницыну, кто бы она ни была, поморщившись, конечно, но все-таки признали бы своей, а Виктору Александрычу надобно было еще добиваться того, чтобы самому пустить корни в аристократическую почву, раскинуться и утвердиться на ней, потому что сам он в большом свете походил на молодое деревцо, пересаженное на новое место, которое, правда, уже принялось и распустилось, но еще за прочное существование которого ручаться было нельзя. Обдумав и рассчитав все это, Виктор Александрыч с терпением, осто-

рожностью и ловкостью опытного охотника, крадущегося за дичью, начал следить за богатыми невестами и сторожить их. Но, несмотря на всю его осторожность и тонкость в этом щекотливом деле, неблагоприятная к нему светская молодежь тотчас подметила его маневры и прозвала его искателем богатых невест. «У него это на лбу написано», – говорили они. Это прозвище из высшего света перешло в другие общества, и какой-нибудь г. Вихляев – этот омерзительный тип крайней пустоты, пошлости и обезьянства, гуляя по Невскому проспекту с своими приятелями, при встрече с Виктором Александрычем, которого он, разумеется, знал только по имени, – всегда говорил: «А! вот искатель богатых невест».

До Виктора Александрыча не могли не доходить слухи о том, как зло его приятели отзывались об нем за глазами и какие ядовитые анекдоты распускали об нем в городе, но он нимало не смущался этим, продолжал самым дружеским образом обращаться с одним из жесточайших своих тайных врагов, князем Драницыным, и шел упорно и твердо к своей

цели.

Людам такого характера, каков был у Виктора Александрыча, все удается, – и удачи эти зависят от них самих, а не от слепого счастья, которое им приписывают люди тупоумные и нерассуждающие.

Однако все старания Виктора Александрыча к отысканию богатой невесты в свете долго оставались бесплодными. В виду для него, кроме пожилой княжны Зарайской, с большими связями и с большим, но расстроенным состоянием, никого не было. Виктор Александрыч, в ожидании чего-нибудь лучшего, стал ухаживать за княжною. Начинали даже поговаривать, что он женится на ней, как вдруг в то самое время, когда шли эти толки, совсем неожиданно появилась в свете девушка без блестящего имени, но, как говорили, с огромным богатством, довольно близкая родственница одному из самых важных и значительных лиц в городе. Двоюродная сестра этого лица отдана была совершенно прожившимися родителями замуж за какого-то незначительного господина, нажившего себе миллионы посредством не совсем честных, но чрезвычай-

но удачных спекуляций, приобретшего имения, большие земли на юге России и железные заводы в Сибири. От этого брака родилась дочь, которая на девятнадцатом году лишилась отца (мать ее умерла еще прежде) и сделалась единственной наследницей всех этих богатств. Год своего последнего траура она провела в Москве, в доме своей родственницы по матери, и по окончании траура вызвана была в Петербург важным и значительным лицом, который принял ее под свое родственное покровительство и в доме которого она поселилась. Она также считалась в родстве, хотя довольно дальнем, с почетной старушкой, которая протезировала Виктора Александрыча.

Появление этой девушки в петербургском большом свете наделало шуму, и слухи об ее состоянии, может быть, несколько преувеличенные, быстро распространились по всему городу. Она сделалась известна под именем богатой невесты. Наружность ее не имела ничего замечательного: она была небольшого роста, худощава, имела цвет лица изжелта-смуглый, густые черные волосы, черные

блестящие глаза и очень быстрые, порывистые и не совсем тонкие манеры. В ней не было признака того, что зовется породюю, она походила более на отца, чем на мать. Воспитание она получила хорошее, но без всякой великосветской выдержки и людей светских, кровных и породистых смешила своей наивностью. Несмотря на все это, свет принял ее довольно благосклонно, как богатую наследницу и родственницу значительного лица.

Виктор Александрыч с первой минуты ее появления, хотя она далеко не удовлетворяла своею наружностью и манерами того тонкого идеала женщины, который он носил в себе, решил, что это именно та, которую он ищет. На первом ее светском дебюте, на бале у графини Рябиной, он танцевал с ней мазурку и с этой минуты все свое внимание преимущественно сосредоточил на ней, не упуская, впрочем, совершенно из виду княжну Зарайскую, из боязни злого языка раздраженной пожилой девушки, чтобы не вдруг открыть свои настоящие виды. Богатая невеста сначала как будто несколько робела перед Виктором Александрычем, но потом начала посте-

пенно привыкать к нему и даже, видимо, чувствовать некоторое расположение.

– Знаете ли, что я вас первое время ужасно боялась, – сказала она ему однажды, с свойственной ей живостью, улыбаясь и прямо смотря ему в глаза.

– Будто? отчего же это? – спросил Виктор Александрыч.

– Оттого, – отвечала она, – что вы держите себя так важно и недоступно, как будто все, что кругом вас, недостойно вашего внимания. Скажите, зачем вы это делаете?

Этот наивный вопрос и тон, которым он был произнесен, не понравились Виктору Александрычу, однако он скрыл это и произнес с едва заметной улыбкой:

– Вы уж никак не можете сказать, чтобы я не обращал ни на кого особенного внимания. Вы должны по крайней мере исключить из всех себя...

– Мне очень лестно, что я попала в исключение, – сказала она, – но я, в самом деле, принадлежу к исключениям в вашем свете. Я еще не могу привыкнуть к нему, мне все как-то еще неловко и странно... Здесь как-то и ды-

шать трудно, – прибавила она, засмеявшись, – как будто мне недостает воздуха... Я привыкла к более свободной жизни.

«Ты отвыкнешь от нее!» – подумал Виктор Александрыч.

К окончанию бального сезона в городе начали носиться слухи о разных браках и, между прочим, о браке Белогривова с богатой невестой. Последний слух был несправедлив, хотя и имел некоторое основание, потому что виды на нее Виктора Александрыча не были уже тайною для тех, которые ездят в свет.

Этим видам в особенности способствовала его покровительница – почетная старушка. Еще вскоре после приезда в Петербург богатой невесты она сказала Виктору Александрычу с расстановками и понюхивая табак из своей золотой табакерки, с портретом на эмали императрицы Екатерины:

– Тебе, батюшка, пора бы уж подумать о том, чтобы завестись своим домом... ты человек такой порядочный, солидный... к тебе нейдет холостая жизнь... Вот тебе невеста... приезжая-то эта... Лиза Карачевская. Право. Чего же лучше? Она богата... Ее отец... я его не

знала, он, говорят, был так, из каких-то из простых, аферист какой-то был... он оставил ей огромное состояние; ну, а по матери она имеет хорошее родство... Она и мне ведь как-то доводится... мы с матерью-то ее были троюродные... ну, а дядя ее, князь Андрей Федорыч – теперь важное лицо... а помню еще, как мальчишкой в курточке бегал... Ты как ее находишь?..

Виктор Александрыч отвечал, что она ему нравится.

– Да, она ничего... вертлявая только такая... ну да что ж требовать?.. Девочка порядочного общества еще не видала...

Месяца через три после этого, в одно утро, Виктор Александрыч сидел у почетной старушки и, по обыкновению, читал ей газеты, только что полученные с почты. Когда чтение окончилось, она, по обыкновению, понюхала табак и начала по поводу этих газет делать свои критические замечания.

– Вот, – говорила она, – этого Гизо называют умником... Что ж в нем умного?.. Бог знает, что теперь делается во Франции... Шумят, кричат в этих Палатах, без всякого толку...

Всех бы их выгнать по шеям и призвать бы на престол законного короля Генриха Пятого... Ах, какой безалаберный, пустой народ эти французы!.. Ну, да бог с ними... Скажи-ка мне лучше, как идут твои дела?

– Какие дела? – спросил Виктор Александрыч, притворяясь, что не понимает вопроса.

– Как какие? – возразила старушка, вертя табакерку между двумя морщинистыми пальцами, из которых на одном горел старинный брильянтовый перстень, – а Лиза – то Карачевская? Она была у меня... я спрашивала у нее про тебя. «Что, я говорю, нравится ли он тебе?.. да говори правду...» Сначала замялась, ну, а потом призналась, что ты ей очень нравишься. Что же, ты бы уж кончал это дело... Зачем в долгий ящик откладывать... Хочешь, чтобы я переговорила предварительно с дядей-то ее?.. Ведь его нельзя обойти.

– Я хотел вас просить об этом, – сказал Виктор Александрыч с почтительным наклоном головы.

– Хорошо, мой друг, я постараюсь тебе устроить это дело.

Через несколько дней после этого разгово-

ра значительное лицо заехало к ней с визитом. Старушка (которая была большая говорунья) завела речь о скверном петербургском климате; о нынешней молодежи, которая, по ее мнению, ни на что не похожа; удивлялась княгине Л*, которая допускает в свой парижский салон Гизо и еще дружится с ним, несмотря на то, что он министр незаконного короля, и после минуты отдыха, понюхав табак, завертела свою табакерку между двумя пальцами.

– Ну, а что, князь, твоя Лиза? – спросила она.

Князь отвечал, что ничего и что она понемногу начинает привыкать к свету, к обществу.

– Что, ей, я думаю, лет уж двадцать с лишком? Ей бы и замуж пора. От женихов – то, я чай, нет отбоя.

Князь отвечал, что он ничего не знает и не слыхивал ни о каких женихах.

– Нет, ей пора, пора замуж, – произнесла старушка настоящим тоном, посмотрела на князя значительно и остановилась на минуту. – У меня есть в виду для нее жених...

– В самом деле? – отвечал князь, улыбнувшись. – Кто же это?

– Отличный молодой человек во всех отношениях – умный, скромный, порядочный... un homme tout a fait comme il faut... только не в нынешнем смысле... он непохож на эту молодежь, которая беспутничает, шляется по трактирам и волочитя за плясуньями. Он сын почтенного отца и человек, который может сделать карьеру. Ты ведь, князь, знаешь его... я говорю о Белогривове.

– А-а!.. он, точно, очень достойный молодой человек, – возразил князь, – но я полагаю, что Lise может сделать партию более видную.

Табакерка с портретом императрицы Екатерины быстро завертелась между двумя пальцами почетной старушки, морщинистая голова ее затряслась, и все туловище ее пришло в движение.

– Я любопытна знать, – произнесла она дребезжащим от волнения голосом, – почему же Белогривов ей не партия, чем он ниже ее... что же такое был ее отец?.. Помните, князь... надо же смотреть на вещи так, как они есть... Он может составить счастье этой

девочки.

Почетная старушка пользовалась столь сильным авторитетом и значением, что даже такое значительное лицо, как князь, перед которым все расступалось, кланялось и благоговело, пришел в некоторое смущение от ее гнева. Он начал как будто оправдываться, говорил, что ему еще и в голову не приходило о замужестве племянницы и что он сделал возражение это так.

Старушка приподнялась с своих кресел, величаво выпрямилась и, обратясь к значительному лицу, произнесла с чувством подавляющей гордости:

– Белогривов делает предложение вашей племяннице, князь, через меня...

– Я должен переговорить с нею, – перебил князь.

– Делайте, как знаете, но если вам не угодно будет по каким-нибудь вашим расчетам принять его предложение, то вы ему откажите, князь, через меня, потому что я принимаю участие в этом деле.

Произнеся это, старушка поклонилась князю и, несмотря на свои лета и уже несколько

согбенный стан, торжественно, как власть имеющая, вышла из комнаты.

На другой день Виктор Александрыч был объявлен женихом богатой невесты.

Почетная старушка держала в страхе всех, от больших до маленьких, она не терпела никаких возражений, ее просьба была почти приказанием, потому что никто и никогда не осмеливался отказывать ей ни в чем; значительные лица за глазами подсмеивались над ней, но в глаза показывали ей знаки глубочайшего уважения; про ее странности, капризы и деспотический характер ходили в городе бесчисленные рассказы.

Однажды, говорят, ее родной племянник, известный генерал, увешанный знаками отличий, приехал к ней с визитом. Она сидела в своей маленькой гостиной на своем старинном вольтеровском кресле и с своей неразлучной табакеркой в руке. Племянник раскланялся, поцеловал ее руку, она указала ему на кресло против себя, он сел и в жару какого-то рассказа, забывшись, облокотился о спинку кресел и положил ногу на ногу. Старушка долго смотрела на него и на его ноги с

вниманием, которое не обещало ничего доброго, и наконец вдруг прервала его речь.

— Что это такое? — вскрикнула она. — Посмотрите на себя, батюшка, как вы сидите передо мною? вы забываетесь! Я вас прошу выйти вон.

И три месяца после этого не пускала к себе генерала на глаза.

Пользоваться покровительством такой особы удавалось не всякому и было не так легко. Виктор Александрыч принадлежал к немногим счастливцам. Почетная старушка, которая в последнее время почти никуда не выезжала и изредка только достаивала чести своим посещением немногих избранных, сама вызвалась быть посаженной матерью Виктора Александрыча. О такой высокой чести кричал с удивлением весь город, и это обстоятельство значительно подняло Виктора Александрыча во мнении света. Посаженый отец, конечно, выбран был под пару посаженной матери. Свадьба, совершившаяся в церкви одного аристократического дома, была вообще необыкновенно блистательная и надедала в свое время большого шуму в городе.

– Vous savez la grande nouvelle, mon cher? искатель богатых невест и накрахмаленный господин достиг-таки своей цели, – сказал князь Драницын адъютанту, только что вернувшемуся из какой-то поездки, с которым он встретился на Невском, – мы его вчера обвенчали на богатой невесте. Я был его шафером, а княгиня Анна Васильевна посаженной матерью... сама княгиня Анна Васильевна!

– Bah! – воскликнул адъютант, разинув рот от удивления при этом имени и остановившись на этом bah.

IV

Через полтора месяца после брака Виктора Александрыча супруга его вручила ему полную и неограниченную доверенность на управление всем ее имением. Через год он купил дом на собственное имя и начал устроить его с великолепием, не уступавшим первым домам столицы. Дом этот, отделанный снаружи в растреллиевском стиле, вроде дома князей Белосельских, считался теперь одним из лучших домов в Петербурге.

Первые месяцы после своего замужества Лизавета Васильевна, так звали супругу Виктора Александрыча, казалась совершенно счастливою: ее все радовало, все занимало, все удивляло, и вследствие своего живого характера она обнаруживала свое удивленье и свою радость прямо, с добродушием и искренностью. Лизавете Васильевне не приходило в голову, что благовоспитанные светские женщины не высказывают своих внутренних движений и что в свете всякое увлечение считается отсутствием такта и неприличием. Лизавета Васильевна иногда вдруг, в порыве

своего чувства, бросалась на шею к своему супругу, обнимала его и объяснялась ему в любви.

– Я не хочу, Victor, – говорила она ему, – чтобы ты был такой мрачный, серьезный, неподвижный... Мне все кажется, что ты сердисься на что-нибудь или чем-нибудь недоволен. Если ты любишь меня, ты должен быть теперь так же весел и счастлив, как я. Ведь ты любишь меня? ну, скажи мне, любишь?.. да?..

Эти вопросы о любви, с которыми приставали к нему, производили на него самое неприятное впечатление... Но в устах жены они казались ему еще неприятнее, чем в устах сестры.

– Что за объяснения! – возражал он со своим обычным холодным достоинством. – Ты знаешь, что я тебя люблю, я знаю, что ты меня любишь. Любовные фразы говорят только в романах и на театре... Порядочные люди любят молча...

– Какой ты несносный, Victor, – перебивала она полушутя, полусерьезно, – что мне за дело до твоих порядочных людей... Бог с ними!

Я знаю, что я непорядочная, потому что я не могу скрывать того, что чувствую.

При слове непорядочная Виктора Александрыча как-то всего невольно передернуло, и брови его вдруг сдвинулись.

– Это дурно, очень дурно, – возразил он, сдерживая себя. – Ты не девочка уж, не пансионерка какая-нибудь... Ты имеешь положение в свете.

Лизавета Васильевна от нетерпения хлопала ножкой...

– Ах, как это скучно, мораль! – говорила она, нахмутив брови, но улыбаясь в то же время, – ты меня убиваешь... Отчего ты такой холодный, Victor, скажи мне?

– Ты смотришь на все как-то странно, – отвечал Виктор Александрыч, – для тебя радость должна непременно выражаться смехом, любовь – нежными объяснениями, фразами и ласками, печаль – слезами, и я тебе кажусь холодным потому только, что умею владеть собой; это необходимо, ты скоро сама поймешь это... Людей, которые не умеют владеть собой в свете, называют неблаговоспитанными.

– Положим, – возразила Лизавета Васильевна, – надо уметь владеть собой в свете, положим, что смешно и неприлично обнаруживать свои чувства перед людьми посторонними, но зачем мы будем скрывать друг от друга свои чувства, впечатления, мысли, когда мы вдвоем, когда мы наедине? Я не понимаю этого.

Такого рода разговоры обыкновенно оканчивались замечаниями Виктора Александрыча, что вместо того, чтобы рассуждать, гораздо лучше вести себя так, как ведут все.

Один раз Лизавета Васильевна, которая старалась заметно, с некоторого времени, сдерживать свои внутренние ощущения (она уж не так часто бросалась на шею к супругу), после обыкновенного с ним разговора на минуту задумалась и потом вдруг обратилась к нему:

– Я давно хотела тебя спросить, – сказала она, делая некоторое усилие над собою, – но я не знаю, меня что-то останавливало... у тебя, говорят, есть сестра, а я ничего не знала об этом.

В голосе, которым она произнесла это, бы-

до более грусти, чем упрека.

Надобно было пройти сквозь все искусства высшей школы, чтобы не обнаружить при этом неожиданном вопросе ни движением, ни взглядом, ни восклицанием ни малейшего волнения. Вопрос этот кольнул Виктора Александрыча в самое больное место, но он отвечал на это равнодушным и спокойным тоном:

– Кто тебе сказал?..

– Для чего тебе это знать? Впрочем, это мне было передано не за тайну, и я могу тебе сказать кто... но скажи мне прежде, правда это или нет?

Виктор Александрыч отвечал, что у него, точно, была сестра и что она, может быть, жива еще, но вследствие ее ужасного поступка для него она уже более не существует. И он рассказал всю историю ее: как она бежала из родительского дома, убила, отца и мать и прочее.

Лизавета Васильевна не могла скрыть своих ощущений при этом рассказе; сдерживаемые слезы крупными каплями выступали на ее глазах и лились по ее смуглым щекам.

– Отчего же ты мне не сказал об ней прежде? – спросила она с горячностью и волнением, – от меня ты, казалось бы, не должен был скрывать этого...

– Для чего бы я стал говорить об этом! – отвечал он. – Между ею и мною все сношения прерваны; ни я, ни ты, надеюсь, никогда ее не увидим.

Лизавета Васильевна вздрогнула.

– Но если она сделала дурной поступок, – сказала она через минуту, – то это было по увлечению, по страсти. И бог прощает, – неужели же ты никогда не простишь этого сестре?

– Я тебя прошу никогда более не говорить мне об этом, – сказал Виктор Александрыч твердо.

Лизавета Васильевна повиновалась его воле, но этот разговор оставил в ней тяжелое и горькое впечатление, и мысль об этой отверженной долго преследовала ее.

Виктор Александрыч, вначале останавливавший легкими замечаниями порывы и увлечения своей супруги, противоречившие совершенно великосветскому понятию о бла-

говоспитанности, видел, что против этого надобно принять меры более серьезные. Он сознавал опасность этих порывов, если им дать полную волю, необходимость охладить горячность ее сердца, затушить ее идеальные, романтические стремления и не дозволить им развиваться... Виктор Александрыч все глубокие человеческие чувства, все горячие убеждения сердца называл идеальными и романтическими стремлениями... Он понимал необходимость дисциплинировать ее, дать ей практическое направление, перевоспитать на свой манер, подвергнуть ее всем пыткам высшей школы, чтобы сделать из нее настоящую светскую женщину, достойную носить фамилию Белогривовых. Все это было, конечно, не совсем легко, но он успокоивал себя мыслию, что такие характеры, каков был у Лизаветы Васильевны, имеющие много горячности, но мало твердости, легко вспыхивающие, но скоро охлаждающиеся, должны без больших препятствий подчиняться постороннему влиянию, особенно если действовать на них постепенно и не слишком резко.

Виктор Александрыч приступил к своей

цели с осторожностью и ловкостью и не сомневался в успехе. Он знал, что Лизавета Васильевна имела склонность к чтению, и хотя сам был убежден, что книги, исключая весьма немногих, приносят более вреда, нежели пользы, но он не вооружался против ее склонности: напротив, сам взялся устроить ей библиотеку, исключив из нее современные романы, которые, по его мнению, были наполнены нелепыми фантазиями и утопиями, располагающими к пустому идеализму и вредной экзальтации... Особенным презрением его пользовалась Жорж: Санд, произносить имя которой он считал даже неприличным; о классических писателях Виктор Александрович отзывался, напротив, с большою благосклонностью и особенно о Корнеле, которого называл не иначе, как *le grand Corneille*, и замечал, что он внушает высокие, героические чувства. Из боязни, однако, чтобы в библиотеку его супруги не попало что-нибудь проникнутое безнравственным современным направлением и не вполне полагаясь в этом случае на себя, он прибегнул к совету одного очень известного в свете пожило-

го господина, глядевшего исподлобья, но с выражением сладким и вкрадчивым, пользовавшегося репутацией человека необыкновенно умного, многосторонне образованного и глубоко нравственного и состоявшего при многих великосветских барынях в качестве директора их совести. Говорили, что этот господин вел сначала жизнь довольно беспутную, промотался, потерял всякое значение в свете и превратился в утонченного лицемера и ядовитого ханжу, для того чтобы восстановить свою репутацию. Но Виктор Александрии не верил этим толкам, очень уважал его и питал полную доверенность к его душевным качествам.

Дамский руководитель принял с большою радостью предложение Виктора Александрыча и деятельно занялся составлением библиотеки для Лизаветы Васильевны. Это обстоятельство сблизило его с нею, и он, после первых неудач, незаметно начал вкрадываться в ее душу и приобретать ее доверенность. Виктор Александрыч не только не препятствовал этому, напротив, был очень доволен. Он знал, что этот господин преследовал с неутомимым

упорством всякого рода увлечения и порывы и проповедовал о необходимости для женщины нравственной дисциплины, состоявшей в полном смирении, безусловной подчиненности и покорности перед мужем, каков бы он ни был, и перед светом и его уставами. Виктор Александрыч знал, что всякий протест, малейшее проявление воли были, по мнению этого почтенного лица, преступлением; что он придавал словам своим еще большую силу слезами на глазах и дрожанием в голосе, что, как известно, очень сильно действует на женские нервы и на впечатлительные и слабые натуры.

Но в то время как дамский руководитель употреблял все усилия для того, чтобы дисциплинировать душу Лизаветы Васильевны, — Виктор Александрыч, с своей стороны, предпринимал все меры, чтобы придать своей супруге безукоризненную великосветскую наружность и подчинить ее всем условиям высшей школы. Каждый шаг ее, каждое слово, каждый взгляд, каждое движение подвергались его утонченнейшему контролю. Он дошел до того, что останавливал ее иногда на

полслове одним едва заметным движением своей брови.

Бедная женщина не без внутренней борьбы, не без тайных страданий покорялась своим нравственным великосветским руководителям. Все ее благородные инстинкты восставали против этого нестерпимого деспотизма. Она понимала посягательство на свою свободу, чувствовала, что в ней убивают все живое, все искреннее, все человеческое во имя каких-то законов и условий неумолимого и беспощадного приличия, и, вырываясь от своих наставников, втайне, наедине, облегчала несколько боль притесненной души рыданиями, свободно вырывавшимися из груди, и потоками слез.

Привязанность ее к Виктору Александрычу начала колебаться подозрениями, что он не любит ее и не любил, что он женился не на ней, а на ее богатстве, что он человек холодный, эгоист, – и, в порывах своего негодования на него, в отчаянии, она кокетничала с каким-то офицером, который особенно ухаживал за ней. Иногда, впрочем, она старалась оправдывать Виктора Александрыча и уте-

шать себя мыслию, что ее подозрения несправедливы, что все это ей так только кажется, что он любит ее и в самом деле желает ей добра, – и тогда она обвиняла себя в непростительной и преступной подозрительности, в безнравственном кокетстве; находила, что ей действительно нужно перевоспитать себя для света, что ее нельзя любить так, как она есть. Дамский руководитель казался ей то лицемером и шпионом, приставленным к ней мужем; то человеком, в самом деле достойным полного уважения за свои нравственные правила. Все понятия, мысли, взгляды, убеждения, которые начинали зарождаться в ней, – все это было поколеблено; она чувствовала хаос внутри себя. То, что она считала нравственным, называли безнравственным, то, в чем она видела благородные стремления, от чего радостно билось ее сердце, во что она желала горячо верить, называлось опасным заблуждением, ложным и пустым идеализмом, и так далее. Все любимые ее писатели, которыми она увлекалась прежде и которых читала с жадностью, предавались неслыханным обвинениям, считались растлителями нра-

вов, посягающими на все высокое и прекрасное. Лизавета Васильевна совершенно потерялась, в ней все перепуталось и смешалось, она не знала, где добро и где зло, что нравственно и что безнравственно. Ее веселость и живость пропали, у нее обнаружили нервные припадки; ей было тяжело, как человеку, вдруг ослепнувшему и бродящему ощупью.

Виктор Александрии видел в ней наружную перемену, но не подозревал, какие внутренние муки переносила она, потому что сам никогда не испытывал их; он был доволен тем, что она держала себя серьезнее, приличнее и с большим достоинством. Но от дамского руководителя не укрылось то, что совершалось в душе Лизаветы Васильевны. Это была самая удобная для него минута, чтобы действовать на нее. Она стояла на распутьи, в недоумении, по какой дороге идти, – и ей надо было указать эту дорогу и поддержать ее. С необыкновенною вкрадчивостью и во всеоружии он приступил к своему подвигу... Для убеждения ее в ход было выпущено все: красноречие, цитаты из книг, слезы на глазах,

дрожание в голосе и проч.

Против всего этого слабой женщине устоять было невозможно; борьба была слишком неровная, и Лизавета Васильевна после долгих сопротивлений и колебаний должна была признать себя побежденной и покориться.

– Благодарю вас, – сказала она однажды своему наставнику, после долгой беседы с ним, – вы успокоили мою душу и примирили меня с самой собою.

– Это самая лучшая минута в моей жизни, – произнес он, приподнимая зрачки к потолку, – но вы должны прежде всего благодарить не меня, – я только слепое орудие высшей воли...

Спокойствие, точно, возвратилось в душу Лизаветы Васильевны, но прежняя веселость, простота и искренность уже не возвращались к ней. Зато, к совершенному удовольствию Виктора Александрыча, она начинала усваивать себе понемногу все приемы великосветских дам. В ней и следов не осталось тех порывов и увлечений, которые так оскорбляли тонкое чувство приличия в ее супруге: она уж не ласкалась к нему и не говорила ему о сво-

ей любви. Лизавета Васильевна дошла до того, что не знала, любит ли она его или нет, да и не старалась анализировать свое сердце, — он был ее муж, и она склонялась перед авторитетом мужа, сохраняя, впрочем, свое внешнее достоинство. Первый искренний пыл любви и молодости исчез в ней, уступив место суровому и непреклонному долгу. Более ничего и не требовал от нее Виктор Александрович. Она начинала осуществлять его идеал жены. Но этот внутренний перелом, которому подверглась Лизавета Васильевна, не мог остаться без последствий, потому что он совершился не без борьбы. Она чувствовала первое время после своего обновления страшную пустоту, томленье и тоску, которые всячески старалась подавлять в себе. В этом положении она обратилась к общественной благотворительности и сделалась попечительницей какого-то приюта. Приют этот, процветавший под ее бдительным и неусыпным надзором, скоро достиг до такого совершенства, что обратил на себя внимание всех известных в городе благотворителей и благотворительниц. Его ставили в образец. В свете

заговорили об Лизавете Васильевне как об женщине, достойной уважения и истинной христианке.

– Вот что значит иметь хорошего мужа, – говорили про нее в один голос все люди, известные в Петербурге своей неоспоримой благонамеренностью и нравственностью, – что она была такое, когда выходила замуж? – ничтожная девочка, дурно воспитанная, пустая вертушка, не умевшая себя вести прилично, – а теперь во всех отношениях примерная женщина, – и кому всем этим обязана? мужу!

Когда отношения Виктора Александрыча с женою определились и приняли именно тот великосветский приличный характер, который они должны были иметь, Виктор Александрыч, в свою очередь, для развлечения (потому что он немного скучал дома), начал посещать довольно часто одну даму, которая известна была в Петербурге под именем Дарьи Васильевны. Вскоре после этого Дарья Васильевна переехала на новую, прекрасно меблированную квартиру. Несмотря, однако, на то, что Виктор Александрыч не подавал ни

малейшего повода к каким-нибудь неблагоприятным заключениям относительно сношений своих с этою дамою, многие уверяли, что новая квартира Дарьи Васильевны была будто бы меблирована на его счет и что за ее лошадей платил будто бы его секретарь – г-н Подберезский, известному Пахомову, который для некоторых дам поставляет, вместе с экипажами, разодетых детей. Рассказывали, между прочим, будто Виктор Александрыч держит очень строго Дарью Васильевну и не позволяет ей слишком выставляться. Все эти слухи большею частию распространял князь Драницын. Я им никогда не верил, потому что строго нравственные правила Виктора Александрыча совершенно противоречили этим слухам... Но если и допустить справедливость их, то и тогда нельзя все-таки не заметить, что Виктор Александрыч вел себя как истинный джентльмен, как достойный представитель высшей школы: он не щеголял своею безнравственною связью, не пускал пыль в глаза экипажами и нарядами своей возлюбленной, не показывался вместе с нею на публичных гуляньях, как это делают те, которые

считают себя безукоризненными джентльменами. Виктор Александрыч мог и в этом служить образцом для многих великосветских господ с громкими именами.

Карьера Виктора Александрыча быстро двигалась вперед. Он уже имел значительное звание. Через четыре года после своей женитьбы он переехал в свой новый дом и открыл свои великолепные салоны. Он давал роскошные, тонкие обеды и блистательные вечера, на которые съезжалось самое избранное общество, начиная с княгини Анны Васильевны.

Княгиня, смотря однажды на хозяйку дома, которая с необыкновенною приветливостью и любезностью, соединенною с достоинством, принимала своих блестящих гостей, подозвала ее к себе.

– Ну, Lise, признаюсь тебе, – сказала она, – я не узнаю тебя. Ты переродилась. Поздравляю тебя. Я люблюсь тобой, мой друг. Вот что значит иметь такого мужа, как твой. Ты должна уметь ценить его.

Старушка понюхала табаку и продолжала:
– Немногим выпадает на долю такое сча-

стве, как тебе... очень немногим...

Старушка при этом покачала значительно головой, которая у нее и без того качалась от старости.

– Чувствуешь ли ты это... а?.. Ну, скажи мне, мой друг, ведь правда... ты очень счастлива? – прибавила она, улыбаясь.

– Очень, – отвечала Лизавета Васильевна с спокойным достоинством и с холодной улыбкою, – и в ту же минуту обратилась к только что вошедшему в комнату какому – то старому военному генералу, с грудью, украшенной орденами и звездами.

В одно утро Виктор Александрыч сидел в своем кабинете в особенно приятном расположении духа. Он выпускал изо рта благовонный дым гаванской сигары, следил за синеватою струйкою дыма и с приятностию потягивался в своих креслах. Душевное спокойствие его было так полно, что оно придавало в эту минуту его лицу, обыкновенно строгому и даже несколько суровому, совершенно несвойственное ему выражение, мягкое и кроткое. Он был доволен всем – своим положением в свете, своею служебною карьерою, своим здо-

ровьем, своим аппетитом, своими доходами, своим новым домом, своим выигрышем (он накануне выиграл в Английском клубе 8000 руб.), своей женою и, может быть, Дарьею Васильевною, если допустить городские сплетни...

Но так как самый счастливейший человек в мире, которому, по-видимому, не остается уже ничего желать, все еще непременно желает чего-нибудь, – то и Виктор Александрыч, несмотря на свое совершенное довольство, желал получить одно довольно видное место, которое ему было обещано.

В ту самую минуту, когда он погрузился в размышления об этом месте, перед ним вдруг как будто выскочил из-под пола ливрейный лакей с серебряным подносом, на котором лежало письмо. Шагов лакея нельзя было слышать на мягком и толстом ковре. Лакей стоял, несколько минут не замечаемый Виктором Александрычем, и наконец решился слегка кашлянуть. Виктор Александрыч сделал движение головою, причем кроткое выражение его лица мгновенно исчезло и приняло свое обычное, строгое достоинство.

Он молча взял письмо с подноса и сделал движение головою. Лакей вышел. Виктор Александрыч взглянул на конверт... На нем был штемпель городской почты, почерк женский и как будто знакомый ему; он оборотил письмо и посмотрел на печать; на сургуче была одна буква Б. «Что это такое? Откуда это?» – подумал Виктор Александрыч. Он надломил печать, вынул письмо не без любопытства (оно было писано по-французски) и начал читать:

«Я долго не решалась писать к тебе, – в продолжение двух месяцев каждый день я бралась за перо и бросала его, и только страх голодной смерти заставляет меня прибегать к тебе...»

Виктор Александрыч побледнел немного и, остановившись на этих первых строках, взглянул на подпись. Письмо было от его сестры. Брови его невольно надвинулись на глаза. Он продолжал читать:

«Страх смерти! когда я сознаю, что мне ничего не остается, кроме смерти, но слабая человеческая природа подвержена таким странным противоречиям... Я хочу умереть, я знаю,

что умру скоро, и между тем боюсь голодной смерти... Я чувствую, что я унижаюсь, прося милостыни и подаяния, и в то же время упрекаю себя за гордость и утешаю себя мыслью, что прошу не у постороннего, а у брата... Ты все-таки брат мне, и, несмотря на бездну, которая нас разделяет теперь, несмотря на то, что ты совсем бросил меня, забыл обо мне, несмотря на то, что между нами нет ничего общего, я все-таки люблю тебя, как брата... Этой любви, о которой ты, верно, не заботишься, ничто не могло искоренить во мне... Но я люблю тебя не в теперешнем твоём богатстве и блеске... Мы теперь и не узнали бы друг друга при встрече... сколько лет мы не видались!.. Ты мне все представляешься тем Виктором, с которым мы выросли вместе, с которым мы играли в куклы... Я люблю в тебе прежнего Виктора, моего маленького брата... Но, может быть, в тебе изгладились все воспоминания прошедшего и я тревожу твоё счастье, твоё спокойствие напоминанием о себе. Прости мне!.. Я чувствую, что мне не следовало бы писать к тебе. Я знаю, что богатые не любят докучливости бедных... Ты можешь

мне сказать, что я терплю должное наказание за мой поступок и что я не заслуживаю со- страдания. Ты можешь подумать, что я вижу теперь безрассудность этого поступка и рас- каиваюсь в нем... О нет... нет! Клянусь тебе, я не могу раскаиваться, я была счастлива на- столько, насколько может быть счастлива женщина, любимая благородным, прекрас- ным человеком, который делал все, что толь- ко может делать человек для доставления ей довольства и спокойствия. При нем я ни в чем не нуждалась. Он жил мной и трудился для меня. Я гордилась его любовью, я была счастлива так, как может быть счастлива женщина, – я повторяю тебе... Два года как его уж нет. Может быть, отнимая его у меня, бог наказывал меня за то, что я вышла замуж; без благословения отца и матери... Может быть, я не знаю этого, – я знаю только, что я страдаю, и с терпением, какое только может иметь слабая женщина, переносила до сей минуты это наказание. До сих пор я не прибе- гала ни к чьей помощи. Я молча несла свою нищету до последней возможности. Муж: мой не мог мне оставить ничего, потому что у

него ничего не было; то, что он приобретал, доставало нам только для безбедной жизни. После его смерти я кое-как поддерживала себя своей работой и тем, что продавала кое-какие вещи, оставшиеся от нашего прежнего хозяйства... в сию минуту мне уже продавать нечего, я так слаба и больна, что не могу работать, а умереть голодною смертью все-таки страшно!.. Спаси меня и помоги мне, если не из сострадания к бедной сестре, то из чувства христианского сострадания. Мне остается не долго жить, – я больна... Если бы не моя болезнь, которая лишила меня возможности работать, я не прибегала бы к помощи... но что же мне делать? – я не знаю... Я еще что-то хотела сказать тебе, но я не могу, я ничего не помню... мысли мои путаются, голова моя так слаба! О, если бы ты знал, чего мне стоило написать это письмо и чего мне стоило решиться послать его к тебе...»

В конце письма был адрес.

Прочитав письмо, Виктор Александрыч опустил голову, которую, как известно, он всегда держал прямо, и задумался.

Через минуту он встал, подошел к своему

письменному столу, выписал адрес из письма, а письмо бросил в топившийся камин и дернул за звонок.

– Послать ко мне сейчас Подберезского, – сказал он вошедшему лакею.

Через четверть часа г. Подберезский явился.

Это был белокурый молодой человек, с румянцем на щеках, с маленькими глазами, с сладкой улыбкой и с подобострастными ужимками. Он вошел в комнату с такой осторожностью, как будто пол был под ним хрустальный.

– Любезный Викентий Станиславич, – сказал Виктор Александрович своему секретарю, который в знак глубочайшего внимания почтительно вытянул шею несколько вперед и сжал губы, – вот вам адрес одной дамы, которой нужна скорая помощь. Поезжайте к ней сейчас и отвезите ей пятьсот рублей, кроме того, распорядитесь, чтобы каждый месяц ей выдавали по полтора рубля. Вы не должны говорить ей, от кого эти деньги и не должны упоминать при ней моего имени. Вы просто отдайте те деньги, не вступая ни в какие

объяснения. Вообще я вас прошу, чтобы это было между нами. Слышите?

При этих словах Викентий Станиславич опустил веки, раскрыл рот, как будто хотел что-то произнести, но не произнес ничего, а только приложил руку к сердцу.

– Поезжайте сейчас, – прибавил Виктор Александрыч.

– Слушаю-с. Я сейчас же это с точностью исполню, – произнес секретарь тихим и вкрадчивым голосом, поклонился и вышел из кабинета своего принцепала с такою же почтительною осторожностью, с какою вошел.

Через час Викентий Станиславич возвратился и доложил, что отвез деньги.

– Вы не говорили от кого? – спросил Виктор Александрыч.

– О нет, помилуйте! я буквально исполнил ваше приказание...

– Вы ее видели? отдали ей самой эти деньги?

– Я все исполнил так, как вы приказали, в точности... Она спросила от кого, но я сказал ей так глухо, что от неизвестного благодотворителя...

– Ну хорошо, хорошо! – нетерпеливо перебил Виктор Александрыч, останавливая дальнейшие объяснения своего секретаря.

Виктора Александрыча беспокоила несколько мысль, чтобы секретарь не узнал каким – нибудь образом о том, какие отношения связывают его с этою дамою, и когда секретарь явился к нему с ответом, он посмотрел на него пытливым взглядом; но в лице Викентия Станиславича было столько простодушия и тупоумной подчиненности, что Виктор Александрыч совершенно успокоился; а между тем Викентий Станиславич тотчас же все разузнал в подробности и думал, смеясь внутренне и глядя на своего принципала: «Ну ты, конечно, хитер, но я все-таки буду похитрее тебя!»

Обеспечив существование Софьи Александровны по чувству долга, Виктор Александрыч успокоил свою совесть и думал, что этим он совершенно отделался от своей сестры, как вдруг был встревожен новым письмом от нее – месяца через четыре после первого. В этот раз он не хотел беспокоить себя неприятным впечатлением и, не распечаты-

вая, бросил его на стол.

Софья Александровна начинала нарушать гармоническое настроение духа Виктора Александрыча. При мысли, что каким-нибудь образом дойдут до света слухи о том, что его сестра содержала себя трудами рук своих, как какая-нибудь швея, что она жила в нищете, — холодный пот выступал на его лбу.

Беспокойство его продолжалось, впрочем, недолго, потому что через неделю после не прочитанного им письма г. Подберезский, являвшийся к нему каждое утро за приказаниями, доложил ему, что дама, пользовавшаяся его благотворительностью, та самая, которой, по его приказанию, выдавалось по полтора-ста рублей в месяц, в эту ночь скончалась, что он утром был у нее для того, чтобы отвезти ей следуемые деньги, и застал ее уже на столе.

Г-н Подберезский произнес это с почти-тельной осторожностью, с потупленными глазами, с печальным выражением и прибавил со вздохом, что эта дама была очень нездорова последнее время.

Виктор Александрыч выслушал своего секретаря так хладнокровно и спокойно, как буд-

то он донес ему о самом обыкновенном вседневном происшествии, несмотря на то, что внутренне был сильно взволнован двумя совершенно противоположными ощущениями: смерть эта пробудила в нем что-то похожее на участие к бедной женщине, так много страдавшей, и в то же время ему было как будто приятно, что все его беспокойства и опасения уничтожаются этою смертью.

– Очень жаль, – сказал Виктор Александрыч своему секретарю голосом спокойным, – я вас прошу распорядиться насчет ее похорон... Я желаю, чтобы все было устроено прилично и чтобы на могиле был поставлен памятник. Эти дни вы можете отложить все другие дела и заняться этим. Я вас не удерживаю. Вам сейчас же надобно отправиться туда.

Секретарь еще раз вздохнул, поклонился и вышел.

Оставшись один, Виктор Александрыч вспомнил о письме к нему сестры и распечатал его. В нем заключалась последняя ее просьба – приехать с ней проститься.

Виктор Александрыч не сжег этого письма,

он положил его в тот ящик стола, где хранились самые важные его бумаги. Несколько минут он просидел, облокотившись на стол.

«Да простит ее бог, как я ее прощаю! – подумал он. – Она искупила своими страданиями свой поступок. Ей ничего не оставалось, кроме смерти, потому что она избавила ее от укоров совести и прекратила ее страдания».

И Виктор Александрыч при этом перекрестился...

Печальное известие это не помешало, однако, обыкновенным занятиям Виктора Александрыча. В этот день он, напротив, обнаружил большую деятельность: утром был в министерстве, перед обедом сделал несколько визитов, обедал в Английском клубе, а вечером появился вместе с своей супругою в своей ложе в Опере. Он казался в этот день еще торжественнее обыкновенного, как будто боясь, чтобы кто –нибудь не открыл его семейную тайну и не проник в его сокровенные мысли.

На следующее утро он проснулся ранее обыкновенного, не мог заниматься ничем и до девяти часов вечера не выезжал никуда. Несмотря на все его уменье скрывать свои

внутренние ощущения, можно было заметить, что его несколько тревожит что-то, но этого никто не заметил, кроме г-на Подберезского.

В девять часов он сел в свои сани и приказал кучеру ехать на Пески, к церкви Рождества. Близ рождественской церкви, на углу одной из улиц этого глухого и бедного квартала, он приказал кучеру остановиться у будки и спросил у часового, где дом Савельева.

– Вон маленький такой деревянный домишко, за фонарем-то, – отвечал часовой, – второй будет от угла, – и указал алебардою в ту сторону, где находился дом.

Было темно, редкие фонари на улице не освещали ее, а только едва мерцали, распространяя кругом себя печальный красноватый блеск; начинал падать снег большими и мокрыми хлопьями.

Кучер остановился у домика, на который показал часовой. Виктор Александрыч вышел из саней, споткнулся о деревянные мостки, которые покорило в этом месте, и чуть не упал. Он открыл калитку, наклонился и вошел в нее, едва отыскав в темноте крылечко

дома, и постучался в дверь. Дверь отворилась. Перед ним, с сальной свечкой в медном подсвечнике, явилась старуха с заплаканными глазами.

– Кого вам? – спросила она.

– Я хочу проститься с покойницей, – сказал Виктор Александрыч, всунув в руку старухи два золотых.

Она посмотрела на него с удивлением и пропустила его. Он сбросил с себя шинель и спросил, куда идти.

– Вот сюда, сюда, батюшка, – сказала старуха, указывая ему дорогу. – Сюда пожалуйста, – и, качая головой и всхлипывая, заговорила о том, как бедная барыня страдала, как она неслышно заснула, как праведница, и как она ей, голубушке, закрыла глазки...

Она провела его через узенький коридор и отворила дверь комнатки, в которой лежала Софья Александровна.

Он переступил порог и остановился, опустив голову и закрыв глаза, как будто не решаясь вдруг взглянуть на лицо умершей.

Небольшой катафалк, обтянутый черным истертым сукном, закапанным воском, стоял

поперек бедно убранной, но чистой комнатки, в переднем ее углу. Свечи в больших церковных подсвечниках, обтянутых флером, довольно ярко освещали комнатку. Старичок чтец в очках читал псалтырь звучным, внятным голосом, нараспев, и эти звуки, печально и торжественно раздаваясь в тишине, производили глубокое, потрясающее действие.

Когда Виктор Александрита вошел в комнату, старичок чтец на минуту остановился, снял свои очки, протер их, снова надел, взглянул на него, и скорбные звуки раздались снова. Он читал:

«Что хвалишиися во злобе силне, беззаконие весь день, неправду умысли язык твой: яко бритву изощрену сотворил еси леть. Возлюбил еси злобу паче благостыни, неправду, неже глаголати правду. Влюбил еси вся глаголы потопныя, язык льстив. Сего ради бого разрушит тя до конца: исторгнет тя и переселит тя от селения твоего, и корень твой от земли живых. Узрят праведнии, и убоятся, и о нем воссмеются, и рекут: се человек, иже не положи бога помощника себе, но упова на множество богатства своего и возможе сует-

тою своею...» (Псалом 51, ст. 1 – 9.)

Виктор Александрыч приехал поклониться телу сестры, примириться с ее прахом, проститься с ней и простить ее. Это была, по его мнению, христианская обязанность, и он был очень доволен, выполняя ее, и придавал своему поступку большую цену. Всю дорогу он был спокоен – и только ощутил небольшое внутреннее волнение, подъезжая к домику, где жила она. Но когда он переступил за порог его, когда он увидел бедность лицом к лицу, когда он подумал, что в этой гнили, сырости и нищете жила его сестра, он почувствовал такое тяжелое, болезненное ощущение, которого никогда в жизни не испытывал. Подавляемые и забитые великосветскою, высшею школою, утонченною *comme il faut* ношью, тщеславием, эгоизмом и суетностью, его совесть и человеческое чувство вдруг с воплем вырвались на свободу и заговорили в нем так громко, что потрясли на минуту до основания все существо его. Торжественные слова святой книги, поразившие слух его: Се человек, иже не положи бога помощника себе, но упова на множество богатства своего и

возможе суетою своею, – показались ему голо-
сом свыше, осуждавшим его. Он почувство-
вал, что голова его кружится, что туман за-
стилает его глаза, еще минута, и он упал бы
без чувств, но вдруг слезы потоком хлынули
из глаз его; он зарыдал и закрыл лицо рука-
ми... Груды его стало легче, он вздохнул сво-
боднее, сделал робко несколько шагов вперед
и, еще все не смея взглянуть на ту, которая
лежала в гробу, упал на колени перед гробом
и смиренно приник головою к ступеням ката-
фалка... Это был уж не человек, пришедший
процать, а просивший о прощении. Он взо-
шел на ступеньки катафалка и взглянул на
усопшую. На ее исхудалом и осунувшемся ли-
це было выражение полного спокойствия и
как будто улыбка на губах. Он склонился го-
ловой к ее холодному лицу, поцеловал его, со-
шел со ступенек, опять стал на колени, помо-
лился, встал и быстро вышел из комнаты...

Он не помнил, как вышел на улицу и как
сел в сани, и когда кучер подвез его к дому,
спросил:

– Зачем ты остановился?

– Вы приказали ехать домой, – отвечал ку-

чер.

Тут только Виктор Александрыч совершенно пришел в себя, взял верх над собою и принял ту гордую и спокойную осанку, которая так шла к нему.

Он прошел прямо на свою половину, послал своего камердинера просить у Лизаветы Васильевны извинения, что не зашел к ней, потому что чувствует себя не совсем здоровым; тотчас разделся и лег в постель. Он долго не мог заснуть, и сон его был беспокоен; всю ночь его преследовала сестра. То являлась ему она в том виде, как была девушкой, с гладко зачесанными густыми, волнистыми наперед волосоми, в белом платье; она сидела возле него на скамейке в каком-то саду и смотрела на него своими бледно-карими глазами; взгляд этот производил на него приятное и не испытанное им впечатление, как будто лучи этого взгляда проникали его насквозь, разливали теплоту по всему его телу, заставляли биться его сердце, и призывали его к новой, лучшей жизни, о которой ему никогда не грезилось. То ему казалось, что она в гробу и что в то время, когда он подходил к

ней и наклонялся, чтобы поцеловать ее, она приподнималась, обнимала его и так крепко сжимала в своих холодных объятиях, что он задыхался. То она гонялась за ним на бале, среди великолепно разубранной и блестящей толпы, при ослепительном освещении, в лохмотьях и рубище и кричала всем: «Я сестра его!» – и он не знал, куда скрыться от нее, и его преследовали всеобщий ропот, негодование, язвительные насмешки и презрительные взгляды...

Он проснулся в сильном волнении, свет уже проникал сквозь темные шторы и двойные занавески его спальни, встал, выпил стакан воды и начал ходить по комнате.

Через час он совершенно успокоился, пришел в свое нормальное состояние, и никто не заметил в лице его ни малейшей перемены. Он упрекал себя за непростительную слабость и употребил все усилия, чтобы задуть в себе окончательно человеческое чувство, которое так неожиданно и дерзко обеспокоило его накануне...

Он не поехал на похороны сестры. За ее гробом шли до кладбища несколько старушо-

нок и женщин из того околотка, где она жила, и сзади в карете ехал г. Подберезский.

Спустя два дня после этих похорон Виктор Александрыч был на одном рауте. Он встретил там своего главного начальника, который поздравил его с получением того места, о котором он так мечтал.

Это известие окончательно изгладило все неприятные впечатления Виктора Александрыча.

О новом его назначении только с месяц назад тому было напечатано в газетах – и потому мне ничего не остается сказать более.